

Клайв Стейплз Льюис Национальное покаяние

На первый взгляд сама мысль о национальном покаянии так отличается от пресловутого английского самодовольства, что христиан, естественно, влечет к ней. Особенно привлекает она множество старшекурсников и молодых священников, охотно верящих, что наша страна разделяет с другими странами бремя вины за военные бедствия, а сами они разделяют это бремя с ней. Как и в чем они его разделяют, мне не совсем понятно. Почти все они были детьми в ту пору, когда Англия принимала решения, ставшие причиной в нынешних наших несчастий. Наверное, они каются в том, чего не совершали.

Что ж, если это и так, вреда тут вроде бы нет: люди редко каются в содеянном, пускай уж хоть в чем-нибудь покаются. Но на самом деле, как я убедился, все обстоит несколько сложнее. Англия — не сила природы, а сообщество людей. Когда мы говорим о ее грехах, мы имеем в виду грехи ее правителей. Молодые каются за ближних — чем не ближний, скажем, министр иностранных дел! Покаяние же непременно предполагает осуждение. Главная прелесть национального покаяния в том, что оно дает возможность не каяться в собственных грехах, что тяжело и накладно, а ругать других. Если бы молодые поняли, что они делают, они вспомнили бы, надеюсь, заповедь любви и милосердия. Но они понять не могут, потому что называют английских правителей не «они», а «мы». Кающемуся не положено миловать свой грех, и правители тем самым оказываются за пределами не только милости, но и обычной справедливости. О них можно говорить все что захочешь. Можно поносить их без зазрения совести и еще умиляться своему покаянию.

Убежать от личного покаяния туда, где «бушуют страсти, не знающие собственных имен»,¹ приятно всякому, но приятнее всего это молодому интеллектуалу. Когда человек на пятом десятке кается в грехах своей страны и старается простить ее врагов, он делает нелегкое дело, ибо он воспитан в патристических традициях и ему трудно искоренить их. Нынешним молодым искоренять нечего. Сколько они себя помнят, они и в искусстве, и в литературе, и в политике принадлежат к разгневанному меньшинству. Они выросли на недоверии к английским властям и сизмальства презирали повадки, идеалы и радости своих менее ученых соотечественников. Все христиане знают, что надо прощать врагов. Но «враг» — это тот, кто действительно вызывает у нас злые чувства. Если вы послушаете хоть недолго разговоры христиан — высоколобых, вы узнаете, кто их настоящий враг. У него два имени: «обыватель» и «деляга». Очень может быть, что это — синонимы слов «мой отец»; но здесь я лишь строю домыслы. А вот одно — совершенно точно: когда вы проповедуете таким людям простить немцев и обратить взор на грехи Англии, вы советуете им, в сущности, не убить, а раскормить их главную страсть. Я не говорю, что каяться Англии не надо или не надо прощать врагов. Суд без милости не оказавшему милости². Но нынешним молодым нужно бы покаяться в нынешнем отсутствии милости, в грехах их возраста и круга — в презрении к необразованным, в недобром взгляде на жизнь, в злоречии, в самодовольстве, в нарушении пятой заповеди. О таких грехах я от них ничего не слышал и, пока не услышу, буду считать, что милость их к врагам Англии стоит немногого. Ибо не милующий обывателя, которого видит, как может миловать диктатора, которого не видел?³

Что же. Церковь не должна призывать к национальному покаянию? Нет, должна. Но дело это — как и многие другие — под силу лишь тем, кому оно нелегко. Мы знаем, что человек призван во имя Бога возненавидеть мать. Когда христианин предпочитает Бога собственной матери, это ужасно, но возвышенно — однако только в том случае, если он хороший сын и духовное рвение возобладало в нем над сильным естественным чувством. Если же он хоть в какой-то степени рад с ней поссориться, если он думает, что возвысился над естественным, в то время как он опустился до противоестественного, — это гнусно, и больше ничего. Трудные повеления Господни — для тех, кому они трудны. У Мориака⁴ в «Жизни Иисуса» есть страшная сцена: Христос говорит о том, что Он пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и все апостолы — в ужасе, кроме Иуды. «Чего они

пугаются? — думал он. Ему нравился в Иисусе именно этот простой взгляд на вещи. Ему нравилось, что Тот видит насквозь человеческую низость». Лишь два состояния духа дают возможность бестрепетно принять парадоксы Христа. Спаси нас, Господи, от одного из них!

1) Слова из «Прелюдии» Вордсворта (1770-1850); кн. XI.

2) См. Иак. 2:3.

3) Льюис перефразирует слова евангелиста Иоанна — «.. ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).

4) Мориак Франсуа (1885-1970) — французский католический писатель, лауреат Нобелевской премии 1952 года. Слова — из книги «Жизнь Христа» (1936), гл IX.

О СТАРИННЫХ КНИГАХ

Почему-то считается, что старые книги должен читать специалист, а с любителя хватит современных. Преподавая литературу, я обнаружил, что обычный студент, желающий узнать об учении Платона, и не подумает пойти в библиотеку и почитать его книги. Он примется за нынешний скучный труд в десять раз длиннее «Пира», полный «измов» и «влиятий», где каждые двенадцать страниц будет цитата из Платона. Ошибка эта трогательна, ибо корень ее — смирение. Студенту страшно встретиться с великим философом лицом к лицу. Ему кажется, что тот ему не по зубам. На самом же деле великие тем и велики, что понять их гораздо легче, чем толкователей. Самый отсталый студент поймет почти все, что сказал Платон, но мало кто разберется в нынешней книге платоноведа. Я всегда стараюсь внушить ученикам, что узнавать все из первых рук не только достойнее, но и просто легче и приятней.

Нигде не предпочитают новых книг старым так, как в богословии. Когда неопиты принимаются за христианское чтение, можно поручиться, что это не Лука и не Павел, не Августин и не Аквинат, а Бердяев, Маритен, Нибур или даже я.

Мне кажется, это неправильно. Конечно, раз я сам пишу, мне бы не хотелось, чтобы нас вообще не читали. Но если уж выбирать, выбирайте книги старые. Я даю такой совет именно потому, что речь идет о любителе, который хуже защищен, чем специалист, от опасностей современной диеты. Новая книга — на испытании, и не новичку ее судить. Она поверяется многовековой христианской мыслью, и лишь в этом свете видны ее ошибки, неведомые автору. Если вы застали в одиннадцать часов разговор, начавшийся в восемь, вы поймете далеко не все. Самые обычные, на ваш взгляд, фразы вызовут смех или гнев, а вы растеряетесь, потому что не знаете их контекста. Может случиться, что вы даже примете то, что несомненно отвергли бы, приди вы к началу. Верную перспективу даст лишь контекст всего христианства, а вы не узнаете его, не читая старых книг. Было бы хорошо, если бы после каждой современной книги вы читали одну старинную. Не можете — читайте ее хотя бы после каждых трех.

У всякой эпохи свой кругозор. Она особенно четко видит одно и особенно слепа на другое. Поэтому всем нам нужны книги, это восполняющие, т. е. книги других веков. Авторы одной и той же эпохи грешат каким-нибудь общим недостатком — даже такие, которые, как я, стараются идти против духа времени. Когда я читаю старые споры, меня всегда поражает, что противники принимают как данность что-нибудь совершенно для нас неприемлемое. Сами они думают, что ни в чем не согласны, а на самом деле множество мнений объединяем их друг с другом и противопоставляет всем прочим векам. Не сомневайтесь, что слепое пятно XX века (то самое, о котором потомки скажут: «И как они могли так думать?») — там, где мы и не подозреваем, и роднит оно Гитлера с Рузвельтом, Уэллса с Карлом Бартом. Никому из нас не дано полностью избежать этой слепоты, но мы ее увеличим, если будем читать только своих современников. Когда они правы, они сообщают нам истины, которые мы и без них ощущали. Когда они не правы, они углубят наше заблуждение. Средство против этого одно: проветрить мозги воздухом других веков, то есть читать все те же старые книги. Конечно, в прошлом нет никакой магической силы. Люди были не умнее нас и ошибались, как мы. Но они ошибались иначе. Они не поддержат наших ошибок, а их ошибки видны

невооруженным взглядом. Книги будущего были бы не хуже, но их, к сожалению, не достать.

Я начал читать христианские книги почти случайно, изучая историю нашей литературы. Одни — Траен, Херберт, Тэйлор, Беньян — сами прекрасные английские писатели, другие — Августин, Аквинат, Данте — влияли на них и на других. Джорджа Макдональда я открыл раньше, в шестнадцать лет, и всегда любил с тех пор, хотя долго старался не замечать его христианства. Как видите, авторы эти — самые разные, разных культур, направлений и эпох. Христианство разделено, и у многих из них это очень ясно проявляется. Но если, начитавшись новых книг, вы решили, что у слова «христианство» слишком много значений и потому оно просто ничего не значит, обратитесь к старым книгам, и мнение ваше изменится. На фоне веков христианство отнюдь не расплывчато и не призрачно, оно весьма определено и четко отличается от всего прочего. Я знаю это по собственному опыту...

Все мы страдаем из-за разделений и стыдимся их. Но тот, кто всегда был внутри, может подумать, что они глубже, чем на самом деле. Он не знает, как выглядит христианство извне. А я знаю, я его видел; и враги его это знают. Выйдя за пределы своего века, это увидите и вы, и сможете, если хотите, поставить увлекательный опыт. Вас сочтут папистом, когда вы процитируете Беньяна, мистиком, близким к пантеизму, — когда вы процитируете св. Фому, и т. п. Вы подниметесь на виадук, перекрывающий века, который высок, когда смотришь из долины, низок, когда смотришь с горы, узок по сравнению с болотом и широк перед козьей тропой.

Сила молитвы

Статья опубликована отдельной брошюрой в 1958 году.

Как-то утром, несколько лет назад, я собрался в парикмахерскую, потому что днем мне надо было ехать в Лондон. Однако из первого же письма, которое я открыл, я узнал, что ехать туда не надо. Тогда я решил отложить и стрижку. Но тут в уме моем что-то назойливо заговорило, почти зазвучало: «Иди к парикмахеру...» Не в силах это выдержать, я пошел. У парикмахера моего было много невзгод, и мне иногда удавалось помочь ему. Не успел я открыть двери, как он воскликнул: «Ох, я так молился, чтобы вы сегодня утром пришли!» И впрямь, приди я на день позже, я бы не смог ему помочь. Я был поражен; поражаюсь и сейчас. Конечно, бесспорным доказательством это служить не может. Бывают совпадения. Наверное, есть телепатия.

Стоял я у постели больной, буквально изъеденной раком. Подвинуть ее хотя бы немного могли только три человека сразу. Врачи обещали ей месяцы жизни; сестры (которым всегда виднее) — считанные недели. Один хороший человек помолился о ней. Через год она ходила по крутым тропкам, а рентгенолог говорил: «Нет, это просто чудо!»¹ Возможно, и чудо, но не доказательство. Все медики согласны в том, что наука их — не из точных. Медицинские прогнозы сплошь и рядом не оправдываются и без чудес. Словом, если хотите, вы вправе не поверить в связь между молитвой и исцелением.

Невольно возникает вопрос: «Какое же свидетельство бесспорно?» Ответ несложен: в отличие от науки, здесь таких свидетельств нет и быть не может. Некоторые явления доказываются единообразием нашего опыта. Закон тяготения — это закон, потому что никто из нас не видел, чтобы тела ему не подчинялись. Однако если бы даже случилось все, о чем молятся люди, это никак не доказало бы того, что зовется силой молитвы. Молитва — это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в том, что можно ей внять, можно и не внять. Когда Всеведущий слышит просьбы довольно глупых созданий, Он, конечно, может их не выполнить. Неизменный «успех» молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее волшебство, магия — способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. Несомненно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится всякая наша молитва. Но есть там и другое. Самый Лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша Его миновала. Она не миновала Его. После этого надо бы забыть представление о молитве как о «верном средстве».

Многие явления и законы доказываются не опытом, а опытами, искусственно подстроенными проверками, которые мы зовем «экспериментом». Можно ли провести эксперимент с молитвой? Не буду говорить о том, что истинный христианин не станет в этом участвовать, ибо ему ясно сказано: «Не искушай Господа Бога твоего».2 Хорошо, это запрещено; но выполнимо ли это?

Представим себе, что какое-то количество людей (чем больше, тем лучше) согласятся между собой молиться шесть недель обо всех больных больницы — А и не молиться о больных больницы Б. Потом подсчитают результаты, и увидят, что в первой больнице больше исцелений, меньше смертей. Ради научной строгости можно повторить этот опыт несколько раз, в нескольких местах.

Но я не понимаю, как молиться в таких условиях. «...Слова без мысли до неба не доходят», — говорит король в Гамлете. Проговаривать слова молитвы и молиться — совсем не одно и то же; иначе для эксперимента годились бы обученные попугаи. Если цель наша — не исцеление, мы не сможем молиться о нем. За пределами эксперимента, в царстве молитвы, нет ни малейших причин желать исцеления одним больным, но не другим. Вы читаете молитвы не из жалости, а из научного любопытства. Что бы ни делали язык ваш, губы, колена, вы не молитесь. Таким образом, никакой эксперимент ничего не докажет и не опровергнет. Это не так уж и печально, если мы припомним, что молитва — мольба, и сравним ее с другими просьбами.

Мы молим и просим не только Бога, но и ближних. Просим передать нам соль, прибавить жалованья, кормить нашу кошку, пока мы в отъезде, ответить на нашу любовь. Иногда упрости́ть удастся, иногда — не удастся. Однако и в случае удачи совсем не просто доказать с научной строгостью причинно-следственную связь между просьбой и согласием. Может быть, ваш сосед и сам кормил бы кошку, даже если бы вы забыли об этом попросить. Может быть, ваш начальник просто боится, как бы вас не переманили. Что же до любви, уверены ли вы, что стали бы просить, если бы прекрасная дама давно не избрала вас?

Друг, начальник, жена могут сказать вам и даже думать, что поступили так, а не иначе, потому что их попросили; мы можем не сомневаться в правдивости их и правоте. Но заметьте — уверенность наша не основана на научных опытах. Она порождена личными отношениями. Мы знаем не «что-то о них» — мы знаем их.

Убежденность в том, что Бог всегда слышит, а иногда — исполняет наши молитвы порождается точно так же. Тот, кто хорошо знает данного человека, лучше поймет, из-за просьбы или по иной причине он сделал то, чего мы хотели. Тот, кто хорошо знает Бога, лучше поймет, в ответ ли на молитву Он послал меня к парикмахеру.

Кроме того, мы неверно ставим вопрос, словно молитва — это колдовство или какой-то автомат. На самом деле она — либо чистый самообман, либо личное общение между неполным, как зародыш, созданием и совершенным Создателем. Молитва-мольба, молитва-просьба — лишь малая часть такого общения. Сокрушение — его порог, благоговение — его святилище, радость о Боге — его трапеза. Когда мы общаемся с Богом, ответ Его на мольбу — лишь следствие, и не самое важное.

И все же молитва-мольба разрешена нам и заповедана: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Тут все непросто. Казалось бы, Всеведущий не нуждается в наших подсказках, Всемилостливый — в понуканиях. Но ровно так же Он не нуждается в посредниках, ни в живых, ни в неодушевленных. Он мог бы поддерживать нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знание, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако Он допустил соработничать с Ним и почву, и погоду, и животных, и мысль нашу, и волю. «Бог, — говорит Паскаль,3 — установил молитву, чтобы даровать Своему творению высокую честь: быть причиной». Не только молитву — эту честь Он дарует нам во всех наших действиях. Удивительно, что моя молитва может влиять на жизнь; ничуть не менее (и не более) удивительно, что на нее могут влиять мои поступки.

Мне кажется, Бог не делает Сам того, что может препоручить нам, людям. Он велит делать неуклюже и медленно то, что Он сделал бы блистательно и быстро. Он попускает нам

пренебрегать Его велениями и терпит, если мы не сумеем их исполнить. Вероятно, мы очень слабо представляем себе, как соработничает конечная, хотя и свободная воля, с волею Всемогущего. Так и кажется, что Господь непрестанно сдерживает Себя, словно отрекаясь всякий миг от престола. Мы не просто потребители или зрители — нас удостоили участия в игре Господней. Быть может, это просто дело Творения, происходящее на наших глазах? Вот так, именно так Бог творит что-то — да нет, творит богов! — из ничего.

Сам я склонен в это верить. Но в лучшем случае это — лишь модель или символ. Что бы нам ни сказали, все — лишь подобие, лишь притча. Истина как она есть недоступна нашему разуму. Удовольствуемся малым, развеим дурные подобия и притчи. Молитва — не машина. Молитва — не магия. Молитва — не совет Богу. Как и всякое наше действие, она связана с действием Божьим, без которого ничего не значат все земные причины. Еще опасней считать, что те, чьи молитвы исполняются, — фавориты Господни, влиятельные при Его дворе. Одно лишь моление о чаше докажет, что это не так. Опытный и добрый христианин сказал мне суровые слова: «Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются новоначальным — перед обращением, сразу после него. Чем дальше ты ушел по христианскому пути, тем они реже». Значит, Господь оставляет без ответа самых лучших Своих друзей? Что ж, Лучший из лучших вскричал: «Для чего Ты Меня оставил?» Когда Бог стал Человеком, Человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь — великая тайна, и, если бы я смог, я бы все равно не посмел разгадывать ее. Сделаем другое: когда, вопреки вероятности и надежде, исполняются молитвы таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и нежно.

1) Льюис пишет о своей жене Джой (1915-1960), произошло это в 1957 г., молился один из его друзей, бывший ученик, преподобный Питер Байд.

2) См. Втор. 6:16; Мф. 4:7.

3) Паскаль Блез (1623-1662) — французский религиозный мыслитель и математик.

Возможен ли прогресс?

(Ответ на вопрос газеты «Observer» опубликован: «Observer», 1958, 13 июля.)

Слово «прогресс» означает движение в лучшую сторону, а мы отнюдь не согласны в том, что лучше, что — хуже. Проф. Холдейн¹ описывает такую ситуацию: зная, что на Земле скоро станет невозможно жить, люди решают переселиться на Венеру и отказываются ради этого от справедливости, милости и радости. Они хотят выжить, больше ничего. Мне кажется, важно, как, а не сколько живут люди. И для всего человечества, и для одного человека пустое долголетие — низменный идеал.

Поэтому я иду дальше сэра Чарльза² и вообще снимаю вопрос о водородной бомбе. Как и он, я не уверен, что, если она убила бы треть человечества, в том числе — меня, это было бы очень плохо для прочих; как и он, я не думаю, что она убьет всех. Ну а если убьет? Я — христианин, и знаю, что рано или поздно человеческая история кончится. По-видимому, Всевышний лучше нас разберется, когда этому быть.

Меня гораздо больше волнует то, что бомба делает теперь. Множеству молодых людей она отравила все радости и попустила все гнусности. Разве они не знали, что с бомбой или без бомбы все люди умирают, многие — очень тяжело?

Устранив этот вопрос, сбивающий нас с толку, вернемся к главному. Становятся ли люди лучше и счастливее? Конечно, судить можно только на глаз. Личный опыт дает очень мало, а книги — и того меньше; мы и о себе самих не знаем почти ничего. Сэр Чарльз перечисляет явные улучшения. Противопоставим им Хиросиму, «черно-бурых»³, гестапо, ГПУ, «промывание мозгов» и лагеря. Быть может, мы добрее к детям, но жесточе к старикам. Любой врач расскажет, что вполне зажиточные люди часто не хотят забирать из больницы безнадежно больных родителей. Как говорила Гонерилья: «Нельзя ли их убрать в какой-нибудь приют?»

Чем спорить, чего же больше, лучше подумать, что и плохое и хорошее вызвано двумя главными причинами. Они и определяют примерно, чего нам ждать.

Во-первых, все больше места отвоевывает наука. Если видеть в ней средство, это ни плохо, ни хорошо. Мы все лучше умеем лечить и вызывать болезни, облегчать и причинять боль, умножать и растрачивать природные богатства. Это может и испортить нас и исправить. Я думаю, случится и то и другое — починим там, сломаем тут, сменим старые беды на новые, и так далее.

Во-вторых, резко меняются отношения государства и подданных. Сэр Чарльз с похвалой говорит о новом подходе к преступлению. Я же вспоминаю о евреях, которых везли в газовые камеры. Казалось бы, какая тут связь? А она есть. По новой теории, преступление — патология, и его надо не наказывать, а лечить. Тем самым снимается вопрос о справедливости: «правовое лечение» — глупые слова.

Раньше общественное мнение могло протестовать против тех или иных наказаний. Оно и протестовало против прежнего уголовного кодекса на том основании, что преступник не заслужил такой суровости. Это — нравственное суждение, и всякий волен его высказать. Но лечение судится лишь по результатам, это — вопрос специальный, и ответит на него только специалист. Таким образом, из личности, имеющей права и обязанности, преступник становится предметом, над которым вправе трудиться общество. Именно так относился Гитлер к евреям. Они были вещью, объектом воздействия, и убивали их не в наказание, а так, как убивают болезнь. Когда государство берется исправлять и переделывать людей по своей воле, воля эта может оказаться и доброй и злой. Конечно, разница есть, но главное — одно: правители становятся человековладельцами.

Смотрите, чем может обернуться «гуманный взгляд на преступление». Если преступление — болезнь, зачем вообще различать их? Кто, кроме врача, определит, здоров человек или болен? Одна психологическая школа считает мою веру неврозом. Если этот невроз не понравится государству, кто защитит меня от лечения? Оно может быть тяжелым — врачам приходится иногда причинять пациенту боль. А я даже не смогу спросить: «За что?», потому что благодетель ответит: «Милый мой, никто вас не обвиняет. Мы вас лечим, а не наказываем».

И ничего тут не будет особенного, просто доведут до предела политический принцип, действующий и сейчас. Он подкрался к нам незаметно. Две войны по праву потребовали ограничения свободы, и мы постепенно привыкли к цепям, хотя и без особой радости. Экономическая жизнь все усложнялась, и правительству пришлось брать на себя многое, чем оно раньше не ведало. В результате классическое учение об обществе, созданное под влиянием стоицизма и христианства и исходившее из понятий справедливости (естественный закон, ценность личности, права человека), медленно скончалось. Современное государство существует не для того, чтобы защищать наши права, а для того, чтобы что-нибудь делать для нас или с нами. Мы не столько подданные, сколько подопечные, вроде школьников или щенят. Нам не о чем сказать: «Это не ваше дело». Вся наша жизнь теперь — их дело.

Я говорю «их», а не «его», потому что и глупому ясно, что нынешнее государство может быть только олигархией. Ни «один», ни «все» в правители теперь не выйдут. Но олигархи смотрят на нас по-новому.

В этом, мне кажется, и состоит наша главная сложность. Вероятно, мы не можем ничего изменить, а если и можем — не станем. Мы — ручные животные (одних приручали мягко, других — жестко) и погибнем без клетки. Что же все-таки способно при этом выжить из необходимейших ценностей?

Я убежден, что человеку лучше, если у него свободный ум. Но я сомневаюсь, что ум этот долго продержится без экономической свободы, которую как раз и убивает современное общество. Такая свобода дает возможность учить и воспитывать детей без государственного присмотра, а взрослым — судить о государстве и указывать ему на его пороки. Почитайте хотя бы Монтеня 4) — вот голос человека, который живет в собственном доме, ест мясо своих овец и плоды своей земли. Кто посмеет так говорить, если государство — наш единственный наставник и работодатель? Конечно, когда люди не были ручными, свободой этой наслаждались немногие. И страшное подозрение овладевает мною: а вдруг есть только

два выхода — свобода для немногих и несвобода для всех? Кроме того, новая олигархия вынуждена много знать. Если мы — ее послушные дети, то она, как мама, «знает лучше». Для этого ей приходится все больше полагаться на мнение ученых, пока она не станет игрушкой в их руках. Общество благоденствия неизбежно идет к технократии. Но страшно давать власть специалистам именно потому, что они — специалисты. Не им решать, что хорошо для человека, что справедливо, что нужно и какой ценой. Пусть врач скажет мне, что я умру, если не сделаю того-то, а я уж сам решу, стоит ли жить на таких условиях.

Наконец, мне не нравится, что государство, требуя повиновения, ссылается на какие-то высшие права. Я не люблю, когда врач строит из себя чудодея, и не признаю божественного права королей. Дело не в том, что я вообще не верю в колдовство и в «Политику» Боссюэ.⁵ В Бога я верю, но теократию терпеть не могу. Всякое правительство состоит из обычных, грешных людей, и строго говоря, мы им обходимся поневоле. Если же оно прибавляет к своим повелениям: «Так сказал Господь», — оно лжет, и ложь его опасна. По этой самой причине я боюсь, когда правят именем науки. Ведь так и создаются тирании. В каждом веке всякий, кто хотел скрутить нас, предъявлял права на то, чего мы особенно боялись и жаждали. Нас покупали — и магией, и безопасностью, и христианством. Теперь покупают наукой. Настоящие ученые невысоко ставят науку тиранов, но им всегда можно заткнуть рот.

Конечно, сэр Чарльз прав, напоминая нам, что на Востоке голодают миллионы людей. Им мои тревоги безразличны. Голодный думает о еде, не о свободе. Нельзя отрицать, что только наука, примененная повсеместно, сможет накормить и вылечить такое несметное множество. А это невозможно без небывалого государственного контроля. Словом, теперь не обойтись без всемирного государства благоденствия. Поэтому я так и боюсь за человечество. С одной стороны, мы видим голод, болезни, угрозу войны. С другой — у нас есть прекрасное против них средство: всеведущая и вездесущая технократия. Для рабства лучших условий не придумаешь. Так оно всегда и начиналось: одни в чем-то нуждались (или думали, что нуждаются), другие могли им это дать (или притворялись, что могут). В древности люди продавали себя, чтобы прокормиться. Продавали себя и общества — магам, которые спасут от злых чар, военачальникам, которые спасут от варваров, церкви, которая спасет от ада. Быть может, страшная сделка состоится снова. Мы не вправе судить за нее людей. Мы даже не вправе их отговаривать. И все же вынести ее невозможно.

Вопрос о прогрессе свелся к тому, можно ли подчиниться всеопекающей власти, не теряя достоинства и независимости. Можно ли хоть как-нибудь собирать мед государства благоденствия, избегая пчелиных укусов?

Не думайте, что укусы — чепуха. То, что творится в Швеции, — только начало. В нашу плоть и кровь вошли определенные потребности: называть свой дом крепостью, учить детей, как велит нам совесть, заниматься разумным трудом. Без этого нет ни нравственности, ни радости. Когда это исчезнет совсем, произойдет страшнейший моральный и психологический срыв. Все это грозит нам даже в том случае, если нас действительно будут лелеять и пестовать. Но будут ли? Кто поручится, что наши правители выполнят условия сделки? Не верьте фразам: «Человек — хозяин своей судьбы». Вполне возможно, что какие-то люди станут хозяевами всех судеб. Просто люди, несовершенные, часто злые, корыстные, хитрые. Чем больше мы им поддадимся, тем больше у них будет власти. Почему же на сей раз она не развратит их, как развращала всегда?

1) Холдейн Джон Бердон Сандерсон (1892-1964) — английский генетик.

2) Речь идет о писателе Чарльзе Сноу (1905-1980), который первым отвечал на этот вопрос (Льюис отвечал вторым).

3) «Черно бурые» — «Black and Tan» — военные части, посланные британским правительством для подавления ирландских революционеров в 1920г.

4) Монтень Мишель (1533-1592) — французский философ, автор знаменитых «Опытов».

5) Боссюэ Жак Бенинь (1627-1704) — французский богослов и проповедник.

Размышления о третьей заповеди

Статья опубликована: «Guardian», 1941, 10 января.

Все чаще и чаще мы слышим и читаем о том, что надо создать христианскую партию, христианский фронт или христианскую политическую платформу. Люди искренне и серьезно желают, чтобы христианство пошло войной на мирскую политику, и сделать это, конечно, должна особая партия. Странно, что некоторых неувязок в этой программе не видят и после того, как вышла в свет «Схоластика и политика» Маритэна.

Быть может, христианская партия просто хочет, чтобы жить стало лучше; быть может, она призвана решить, что такое «лучше» и какими средствами нужно этого добиваться. Если она выберет первый вариант, она политической партией не будет: почти все партии стремятся к целям, которые всякому понравятся, — они хотят для всех (или для каких-то) людей уверенности в будущем и благополучия, а для страны — наилучшего, с их точки зрения, соотношения между порядком и свободой. Разделяет их то, как они все это расшифровывают. Мы спорим не о том, нужно ли людям жить лучше, а о том, что им в этом поможет — капитализм или социализм, демократия или деспотия и т. д.

Что же будет делать христианская партия? Благочестивый Филарх убежден, что хорошей может быть только христианская жизнь, а ее должна насаждать сильная власть, уничтожая последние следы душепагубного либерализма. По его мнению, фашизм просто исказил верную идею, а чудилище демократии, дай ему волю, пожрет христианство; и потому он готов принять помощь даже от фашистов, надеясь, что он и его соратники их в конце концов перекусвят. Статив не уступает Филарху в благочестии но он глубоко убежден, что падшему человеку нельзя доверять столь опасную силу, как власть, он не надеется на вождей и видит единственную надежду в демократии. Тем самым он готов сотрудничать со сторонниками status quo, хотя их мотивы лишены и призыва христианства. Наконец, Спартак, не менее честный и верующий, хорошо помнит, как обличали богатых и пророки, и Сам Спаситель, и склоняется поэтому к сторонникам левой революции. Естественно, и он готов сотрудничать с теми, кто прямо называет себя воинствующими безбожниками.

Все трое встретятся в христианской партии, а потом — перессорятся (на чем ей и придет конец), или кто-то один из них возьмет верх и выгонит двух других. Новая партия, т. е. меньшинство христиан, которые и сами в мире — меньшинство, вряд ли сможет что-нибудь сделать своими силами. Ей придется прилепиться к соответствующей нехристианской партии — к фашистам, если победит Филарх, к консерваторам, если победит Статив, и к левым, если победит Спартак. Не совсем ясно, чем же все это будет отличаться от нынешнего положения.

Более чем сомнительно, что христиане перекусвят своих неверующих собратьев по партии. Куда им! Ведь как бы они ни звались, они представляют не христианство, а малую его часть. Идея, отделившая их от единоверцев и сроднившая с неверующими, отнюдь не богословская. Она не вправе говорить от имени христианства, и власти у нее ровно столько, сколько властности у ее приверженцев. Но дело обстоит гораздо хуже: эта малая часть считает себя целым. Назвавшись христианской партией, она тем самым отлучает, обвиняет в ереси своих политических противников. И ее постигнет в самой тяжелой форме искушение, которым диавол никого из нас не обделил: угодные ей взгляды покажутся ей учением самой Церкви. Мы всегда готовы принять наш чисто человеческий (хотя порой и безвредный) энтузиазм за святое рвение. Это усилится во много раз, если мы назовем небольшую шапку фашистов, демократов или левых христианской партией. Бес-хранитель партий всегда рад явиться в ангела света, а тут мы сами дадим ему лучший маскарадный костюм. Когда же он перерядится, повеления его быстро снимут все нравственные запреты и оправдают все, что измыслили наши нечестивые союзники. Если надо убедить христиан, что предательство и убийство дозволены, чтобы установить угодный им режим, а религиозные гонения и организованный бандитизм — чтобы его поддерживать, лучшего способа нет. Вспомним поздних лжекрестоносцев, конкистадоров и многих других. Тех, кто прибавляет «Так повелел Господь» к своим политическим лозунгам, поражает рок: им кажется, что они все лучше, чем дальше они зашли по пути греха.

А все оттого, что нам представляется, будто Бог говорит то, чего Он не говорил. Христос не пожелал решать дела о наследстве — «Кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 12:14). Он ясно сказал нам, какие средства праведны. Чтобы мы знали, какие из них действенны, Он дал нам разум. Остальное Он предоставил нам.

Маритэн разумно указывает единственный способ, каким мы можем воздействовать на политику. Христиане влияли на историю не потому, что у них была партия, а потому, что у них была совесть, с которой приходилось считаться. Что ж, спросят вас, нам остается писать членам парламента? Да, и это неплохо. Тут можно сочетать голубиную кротость со змеиной мудростью. Вообще же надо, чтобы мир считался с христианами, а не христиане — с миром. В сущности, меньшинство может влиять на политику лишь двумя способами: либо оно должно «приставать» к власти имущим, либо становиться партией в современном смысле (т. е. тайным обществом жуликов и убийц). Да, я забыл: есть и третий способ. Можно стать большинством. Обративший ближнего принес «христианской политике» самую большую пользу.